



Ева Зимина

(НЕ)НУЖНАЯ
НЕВЕСТА
ЛЕДЯНОГО
ДРАКОНА

Ева Зимина

(Не)нужная невеста ледяного дракона

<https://litres.ru/74146138>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Зимняя невеста Зеркального лорда зиму не переживёт» — так говорят в Талом Логе. Лекарку Ингу по прозвищу Стужа, которую в родном селе зовут проклятой, отдают ледяному дракону в уплату долга: и недоимку закрыть, и избавиться от той, «кого не жаль».

За ней приезжает сам лорд Хальвард Морн — властный, немногословный, с рукой, что стекленеет от древней стужи. Без истинной пары его род застывает заживо, а Зеркало Стужи семь лет назад показало, что пары у него нет. Ему не нужна жена. Ему нужно тихо угаснуть.

Но Инге хватает трёх дней, чтобы понять: в мёртвом замке лгут. Лорд не губил своих невест — они пропали. Из стены плачет забытый ребёнок. А древнее Зеркало, что мутнеет на лжи и теплеет на правде, вовсе не разбито — его заставили молчать. И у того, кто это сделал, мягкий голос и холёные руки.

Чтобы спасти дракона, ребёнка и себя, Инге придётся перестать прятать свой дар — и заставить лёд сказать правду при

всех. Даже если правда в том, что «проклятая» и есть та самая, единственная.

Содержание

Глава 1. Уплата	5
Глава 2. Зеркальный лорд	18
Глава 3. Стылый дом	30
Глава 4. Что стекленеет	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Ева Зимина

(Не)нужная невеста

ледяного дракона

Глава 1. Уплата

Мёртвых в Талом Логе обмывала я, потому что живые бо-
ялись, будто смерть тоже принесла им я.

В то утро под моими руками лежала старая Вербa — трав-
ница, что учила меня всему, пока язык её слушался, а руки
держали иглу. Я закрыла ей глаза, свела на груди сухие ладо-
ни и подышала на маленькое зеркальце, которое всегда носи-
ла в кармане передника. Иней лёг на стекло ровно, без еди-
ной петли, чистым узором, как ложится он на честное окно.
Вербa ушла честной. Ни обиды, ни лжи в ней не осталось —
только усталость, которую я знала на ощупь, как знают вкус
собственной крови. Я укрыла ей лицо и сказала вслух, хотя
слышать было некому: спасибо, что не побоялась взять меня
в дом. Она одна и не побоялась. Теперь и её не стало.

Это был мой дар и моё проклятие: я умела читать иней.
Подышишь на холодное стекло, на замёрзшую лужу, на лез-
вие ножа, вынутого из снега, — и морозный узор скажет тебе

правду. Ровный, ясный — там, где правда. Мутный, свитый в мелкие злые кольца, будто в него дохнули не воздухом, а враньём, — там, где лгут. Этому не учат в гильдиях. Этому вообще нигде не учат, и потому я молчала об этом двадцать три года, как молчат о родинке на месте, которого не показывают. За такое в империи не хвалят. За неучтённый дар — Обитель Пепла, и не важно, огонь у тебя в руках или иней на дыхании. Дар положено вписать в реестр и носить на виду, как клеймо; неписанный дар — это верёвка, которую ты сам себе вьёшь. Я свою верёвку прятала под воротом двадцать три года.

Молчать не всегда помогало. Люди не знают слова «дар», зато хорошо знают слово «стужа». А стужа шла за мной с детства: где Инга — там холод, говорили в Логе. У Инги на пороге снег ложится первым. Инга подышала на окно — и корова пала. Инга посмотрела — и ребёнок захворал. Я не спорила. Спорить с молвой всё равно что спорить с метелью: наберёшь полный рот снега и охрипнешь.

Не успела я прибрать у Вербы, как в дверь заколотили. Пришёл Мокша, кузнец, и приволок сына — мальчонку лет девяти, что висел у него на руке белый, как творог, и держал правую руку левой, будто чужую вещь, которую боится уронить.

— Свалился с сеновала, — сказал Мокша, дыша на меня вчерашней брагой. — Сам, дурак, полез. Ты вправь, а я заплачу.

Кость я нащупала сразу — предплечье, чистый перелом, без смещения в клочья, такой сходится хорошо, если не тянуть. Но я, покуда щупала, дышала на своё лезвие, вынутое из ледяной воды, — тихонько, у самого пола, чтобы кузнец не видел. Иней на стали свился в злые кольца, когда Мокша сказал «сам полез». Мальчонка не падал. Мальчонку уронили — вот этой самой рукой, что сейчас совала мне монету. Я посмотрела мальчику в глаза, и он посмотрел в ответ так, как смотрят дети, которых бьют: с готовностью сказать что угодно, лишь бы не хуже.

— Сам, — прошептал он.

— Сам так сам, — сказала я и не стала спорить. С кузнецом не поспоришь, а мальчику руку сложить надо сейчас, а не после моей правды. Правда его не срастит. Я срослю. Я дала ему закусить кожаный жгут, поймала взгляд, отвлекла — «смотри в угол, там паук зимует» — и одним движением свела кость. Он ойкнул в жгут, но не заплакал; такие дети плакать разучаются рано. Я примотала лубок, дала отвар от жара и сказала кузнецу поить сына тёплым, а не браться за него, покуда не сойдёт синь. Мокша бросил монету на стол — не в руку, на стол, чтобы не коснуться, — и уволок мальчонку. У порога он обернулся и сплюнул: — Ведьма.

Ведьма сложила его сыну руку так, что к весне мальчик снова полезет на сеновал. Но об этом молва молчала. Молва помнит только плохое: так ей теплее.

Меня прозвали Стужей в ту зиму, когда у смолокура Крес-

ня сгорел жаром единственный сын. Мальчик хворал три дня, а позвали меня на четвёртый, ночью, когда уже поздно. Я сидела над ним до света, лила в него всё, что знала, но горячка была из тех, что не отпускают, и он ушёл под утро. А отец, чтобы не признаться себе, что тянул три дня, встал у окна и сказал соседям: онадохнула — и стекло замёрзло, и мальчик застыл. Окно и вправду замёрзло: была лютая ночь. Иней тогда лёг на стекло криво, в кольца, — потому что Кресень лгал, потому что винил меня в своей вине. Но кольца видела я одна, а замёрзшее окно видели все. С той зимы я — Стужа. Мёртвого ребёнка на кого-то надо повесить, а мёртвый повешенным не бывает; вешают живого, кто под рукой. Я оказалась под рукой.

Я говорю это спокойно, потому что если носить всякую такую обиду в груди, к тридцати выстудишь себя изнутри и станешь как те, кого обмывает. А я хотела дожить до весны. Я всегда мерила жизнь так: доживёт ли человек до весны. До весны — значит, обошлось. Себе я тоже отмеряла по весне и до сих пор доживала.

К полудню по Логу пошёл слух, что вечером у старостиной избы будет сход. Слух этот был холоднее обычного, и я, дура, ещё подумала: не по мою ли душу. Дожила бы до весны — научилась бы не думать «не по мою ли душу». Но по мою душу в Талом Логе думали всегда, и в этот раз чутьё меня не обмануло.

Изба старосты Бьёрга стояла в середине села, тёплая, лад-

ная, с резными наличниками, которые он сам себе резал зимними вечерами, пока другие мёрзли. Бьёрг был из тех, кто умеет устроиться в любую беду с наветренной стороны. Я знала его язык лучше, чем он сам: у Бьёрга правда и ложь жили в одном рту и выходили одинаково гладко, но иней их различал.

Меня впустили последней и поставили не у очага, а у порога, где дует. Мужики расселись по лавкам, бабы жались к стене, и все они смотрели куда угодно, только не на меня, — а это верный знак, что говорить будут обо мне.

— Долг рубежу, — начал Бьёрг, разглаживая на столе грамоту с висячей печатью. — Три зимы недоимки. Хладный предел ждать больше не станет. Придут за данью — заберут зерно, скот, а не хватит — людей в отработку. Всех обездолят.

Он говорил, а я, стоя у порога, потихоньку дышала на замёрзшее стекло оконца рядом. Не со зла. Просто я не умею иначе слушать людей, когда решается моё: мне нужен иней, как другому нужно видеть лицо. Узор пополз по стеклу — и свился в мелкие злые кольца там, где Бьёрг сказал «три зимы недоимки». Иней не соврал. Недоимки было меньше. Часть дани Бьёрг оставлял себе третью зиму подряд, а недостачу валил на неурожай и на порчу — на меня, стало быть, тоже.

Я могла бы сказать. Открыть рот и сказать при всех: врёшь, Бьёрг, часть у тебя в подполе. И меня бы за это сожгли — не за ложь, а за то, что я знаю правду не по-людски.

Знать правду не по-людски в Талом Логе опаснее, чем воровать. Я закрыла рот и стала слушать, куда он клонит, потому что человек, который сначала лжёт про долг, всегда потом продаёт кого-то, чтобы долг закрыть.

— Есть способ, — сказал Бьёрг, и все подались вперёд, а я осталась стоять прямо, потому что уже знала: способ — это я. — Хладному пределу нужна не дань. Хладному пределу нужна невеста.

По избе прошёл шорох, будто ветер тронул сухой камыш. Кто-то из баб охнул в ладонь.

— Зеркальный лорд, — продолжал Бьёрг, понизив голос до того особого тепла, каким говорят гадость, — по старому уложению может взять из должного села зимнюю невесту вместо дани. Приданого не надо. Согласия не надо. Отдаём девку — долг гаснет весь, до последней меры зерна. Все свободны.

— И девка свободна? — спросил косой Витко с дальней лавки, скорее для порядка, чем из жалости. Витко я всю осень ставила банки на гнилую грудь, и он это помнил, но помнил тихо, про себя, как помнят все свои долги мне в этом селе.

Бьёрг развёл руками с той скорбью, которую надевают, как чужой тулуп, — снаружи тепло, внутри пусто.

— На то воля лорда. Только вы сами знаете, что говорят. Зимняя невеста Зеркального лорда зиму не переживает. Оттуда не возвращаются. Замок стоит на костях. — Он выждал,

дал страху осесть и добавил ласково: — Оттого и надо отдать ту, кого не жаль. Ту, что и так стужу за собой водит. Ту, кому в Логе не место.

И вот тут вся изба, наконец, посмотрела на меня. Разом, будто по команде. Сорок пар глаз, которым я вправляла вывихи, принимала детей, закрывала глаза старикам, — и все сорок смотрели с одинаковым облегчением: нашли. Есть кого. Не своих.

— А что, — подала голос вдова Стана, у которой я прошлой весной приняла мёртвого младенца и спасла её саму, — она и впрямь порченная. От неё стынет. Пушай едет.

Иней на моём оконце свился бы сейчас в кольца от начала до конца её речи, потому что Стана не верила ни одному своему слову — она просто боялась, что вместо меня укажут на её дочь. Страх не бывает честным. Страх всегда лжёт, чтобы отвести беду от своего порога к чужому.

Я не закричала. Я хоронила слишком многих, чтобы тратить крик на живых. Я оглядела их всех медленно, каждого, — и подышала напоследок на стекло, уже не таясь. Иней пополз по оконцу и лёг ровно, ясно, без единой петли, когда я про себя сказала: я никого не выстужала. Стекло подтвердило то, что не подтвердил бы ни один человек в этой избе. Правда была на моей стороне и не стоила ничего.

— Значит, откупаетесь мной, — сказала я ровно. — Три зимы я вас лечила даром. Теперь плачу за вас собой. Складно.

— Ты стужу водишь, — огрызнулась старостиха, пряча глаза. — Из-за тебя всё.

— Из-за меня вы живы, дура, — сказала я тихо, только для неё, и она отшатнулась, будто я и впрямь дунула на неё морозом.

Бьёрг встал, довольный, что обошлось без воя.

— Сани придут за тобой поутру, — сказал он. — Собери, что твоё. Много не бери — там, куда едешь, оно тебе... — Он не договорил. Даже у Бьёрга язык не повернулся сказать «не понадобится» вслух, при всех. Иней на стекле у меня за спиной, я знала, сейчас свился бы в кольца: Бьёрг лгал, будто ему не всё равно. Ему было всё равно. Просто гладко всё равно.

Я вернулась в свою избу на краю села, где снег и вправду всегда ложился первым, — не от проклятия, а оттого, что изба стояла в тени еловой гряды, куда солнце заглядывало последним. Я собрала то, что моё: связки трав, иглы, костяной нож, ступку, две смены белья, зеркальце. Материнскую шаль — серую, с синей нитью по краю, единственное, что осталось мне от женщины, которую я почти не помню и о которой в Логе говорили то же, что теперь обо мне. Стужа, видно, у нас родовая. Мать умерла, когда мне было три, и я не знаю, читала ли она иней. Спросить некого. Дар передают молча, и молчат о нём до могилы.

Я не плакала — я считала. Считала, сколько отваров оставить тем, кто зимой сляжет без меня; кому отписать, где у

меня спрятан корень от родильной горячки; доживёт ли до весны косой Витко с его гнилой грудью, если некому будет ставить ему банки. Выходило, что многие не доживут. Я лечила эту деревню, которая меня продавала, и в этом была не святость, а привычка: рука, которая умеет вправлять, вправляет даже врагу. Иначе она не рука. Я разложила по горшочкам, что кому, и надписала углём на крышках, кто грамоте не знает — тому нарисовала. Провозилась до полуночи. Легче считать чужие хвори, чем свою.

Ближе к полуночи в дверь скреблись — тихо, воровато, как скребётся тот, кто боится, что его увидят у моего порога. Я открыла. На снегу стоял косой Витко, кутая в тулуп свою гнилую грудь, и от каждого вздоха у него в горле сипело, как в прохудившемся мехе. Я эту грудь знала лучше, чем он: до весны Витко не доживал, банки только оттягивали.

— Не сердчай, Инга, — прохрипел он, суя мне в руки узелок. — На дорогу. Рыбы вяленой да рукавицы вот, бабкины ещё, тёплые. Больше нету у меня ничего.

Я взяла. Не потому, что нужны были рукавицы, а потому, что человеку надо было отдать — ему с этим легче помирать будет, что хоть раз не смолчал за меня. Иней на моём лезвии, когда Витко говорил, лёг ровно: он не лгал. Единственный за весь день в Талом Логе не лгал мне человек, которому самому недолго осталось.

— Слушай сюда, — сказал он, оглянувшись на пустую улицу, и понизил голос. — Брат мой покойный на рубеж во-

зил смолу, к самому Морнхольду. И сказывал: враньё это всё, про костях да про загубленных невест. Не мрут там невесты, Инга. Пропадают. Привезут, а к весне — нет её, и никто не видал, чтоб хоронили. А кто из возчиков лишнее спросит — тому у ворот один такой, с мягким голосом да с руками холёными, сунет монету и велит забыть. Брат забыл. А как помирал — вспомнил и мне пересказал, чтоб не я один знал. — Витко закашлялся, согнулся, сплюнул в снег тёмным. — Не мрут, значит. Пропадают. А это, девка, хуже смерти. С мёртвого хоть спрос есть. С пропавшего — нету.

— Дыши через нос и не выходи на мороз без платка на рту, — сказала я ему вместо благодарности, потому что не умею благодарить, а лечить умею. — И грудь мазью, что в синем горшке, на ночь. До весны дотянешь, если слушаться будешь.

Врала. Не дотянет. Но иней бы мне этого не простил, а Витко — простит: живым иногда нужна не правда, а тёплый горшок и добрая ложь на дорогу. Он ушёл в темноту, кашляя, и унёс с собой единственное честное «прощай», какое я услышала в Талом Логе. А мне осталась рыба, бабкины рукавицы и одно слово, которое я не смогла стереть с оконца до утра, сколько ни дышала: пропадают.

Ночью я подышала на своё оконце и спросила у инея то, чего не спрашивала давно: выживу ли. Иней лёг мутно и криво, свился в кольца, ушёл в угол стекла. Мой дар не умел лгать даже мне. Он не сказал «да». Я долго смотрела на этот

кривой узор, а потом стёрла его ладонью, потому что нет большего дурака, чем тот, кто до утра глядит в собственный приговор.

Я не спала. Под утро, когда небо над еловой грядой только начало сереть, я услышала то, чего не слышали в Талом Логе на моей памяти: колокольцы. Не деревенские бубенцы — чужие, глубокие, будто кто-то встряхивал под дугой не медь, а лёд. Я вышла на порог в наброшенной материнской шали.

По белой улице от заставы шли сани. Не купеческие, не почтовые. Чёрные, длинные, в резной оковке, и коней было четыре, вороных, в мохнатом инее по самые бабки, и пар от их дыхания стоял в воздухе стеной, не тая. За санями снег ложился так, будто их вело само небо. Я смотрела, и во мне холодело — не от дара, от простого человеческого холода: за такой невестой, как я, посылают слугу. Тут слугой не пахло.

Сани встали у моей калитки. С облучка поднялся тот, кто правил, — и я поняла, что колокольцы были ни при чём, потому что лёд, который я слышала, был на нём.

Он был высок, в тёмном, и весь в инее: иней сидел на плечах его плаща, на тёмных волосах, серебряной прядью тёк от виска, и от него шёл холод, какого не бывает у людей, — ровный, глубокий, старый. Я лечила обмороженных и знала, как выглядит человек, в котором стужа съела край живого. В этом стужа съела не край. Она стояла в нём хозяйкой.

Он снял перчатку с левой руки, чтобы взяться за створку калитки, и я, лекарка, которая видела всякую хворь, засты-

ла. Его рука со стороны запястья не была живой. Она стекленела: кожа шла тонкой зеркальной коркой, как стекленеет вода в кадке, прихваченная с краёв, и корка эта ползла вверх, к пальцам, и в ней отражался серый рассвет. Это была не хворь. Хворь я бы назвала. Этому у меня не было имени.

Он поднял на меня глаза — зимне-серые, с серебряной искрой в самой глубине, — и я, которая мерила каждую жизнь вопросом «доживёт ли до весны», впервые не смогла ответить себе на этот вопрос, глядя на живого человека. Он не доживал. Он умирал стоя, медленно, изнутри, и знал это — я видела это знание в его глазах, спокойное, как у Вербы под конец.

— Инга-травница, — сказал он. Голос был под стать руке: ровный, стылый, без единой петли. — Я лорд Хальвард Морн. Я приехал за тобой сам.

За калиткой, за его спиной, у плетней стоял весь Талый Лог и смотрел, как забирают их стужу. Я перевела дыхание, и оно повисло белым облачком между мной и лордом, который стекленел заживо.

— За невестой обычно шлют слугу, — сказала я. — За вами, милорд, видно, некому. Что же вы за человек такой, если едете за смертью сами?

Что-то дрогнуло в серебряной искре его глаз — не гнев, что-то холоднее и старше гнева. А за моей спиной, на оконце избы, из которого я только что стёрла свой приговор, снова напал иней. И ложился он — я это чувствовала спиной,

кожей, всем своим проклятым даром — ровно и ясно. На чистую правду. Только я ещё не знала, чью.

Глава 2. Зеркальный лорд

Дорога до Хладного предела заняла два дня, и за эти два дня лорд Хальвард Морн сказал мне ровно четыре раза больше слов, чем я ждала, — то есть четыре слова.

Мы ехали молча. Он правил сам, стоя на облучке, будто седока в санях и не было, а я сидела за его спиной, укутанная в медвежью полость, которую он бросил мне, не оборачиваясь, в первую же версту, — просто протянул руку назад и уронил мех мне на колени, как роняют корм собаке, не из ласки, а чтобы не сдохла раньше времени. Я закуталась. Гордость греет плохо, а медвежья шкура — хорошо, и я давно выбрала для себя, что доживу до весны, а не умру красиво.

Я лечила обмороженных и знала: живой человек в такой холод дышит паром, ёжится, притопывает. Хальвард не дышал паром. Он вообще почти не дышал — я считала, потому что не могу не считать чужие вздохи, это во мне сидит глубже страха. На версту приходилось вздохов пять, не больше. Так дышат не живые. Так дышат те, в ком жизнь ушла на самое донышко и тлеет там, экономя себя. Я смотрела на его спину, прямую, как копьё, на иней, что нарастал на его плечах и не таял, и понимала, что везу себя в дом к человеку, который сам едет в могилу и просто ещё не лёг в неё.

На первую ночь мы встали на постоялом дворе у развил-

ки — низком, прокопчённом, с хозяином, который при виде лорда побелел и уронил ковш. Хальвард бросил на стойку монету, сказал: «Две комнаты», — и это были первые его слова за день. Хозяин закивал, забормотал, что комната свободна одна, но зато большая, тёплая, у самой печи...

— Две, — повторил Хальвард. Не громче. Просто холоднее. И вторая комната немедленно нашлась.

Пока хозяин собирал на стол, я услышала за печной перегородкой кашель. Детский, сухой, с тем присвистом на вдохе, что не спутаешь ни с чем: у ребёнка садилось горло, и садилось нехорошо, к ночи закладывало совсем. Я слушала этот кашель, ела свою похлёбку и держала себя за руки под столом, потому что дала себе слово: чужой дом, чужая беда, не суйся, доедь живой. Кашель повторился. Потом снова. Хозяйская девчонка лет пяти, я видела её краем глаза, сидела в углу у печи, красная, и дышала ртом, как рыба.

Я продержалась до третьей ложки. Потом встала, подошла к перегородке и сказала хозяйке — та шарахнулась, уже прослышав, кого везёт лорд: — Не бойся. Ведьма я или нет, а горло у твоей дочки слушать умею лучше, чем бояться. Дайка. — И, не дожидаясь позволения, села на корточки перед девчонкой, велела ей сказать «а-а-а», заглянула в горло к свету лучины, пощупала шею под ушами. Не жаба ещё, слава травам, но к тому шло. Я развязала свой узелок, отсыпала хозяйке алтея и мать-и-мачехи, показала, как парить и как поить малыми глотками, и велела не давать спать на спине.

— Сколько? — севшим голосом спросила хозяйка, ком-кая передник, готовая, я видела, отдать последнее.

— Нисколько, — сказала я. — За постой лорд платит. А за горло я денег не беру. Никогда не брала.

Я вернулась за стол и только тогда заметила, что Хальвард смотрит на меня. Не так, как смотрели в Логе, и не так, как смотрел кастелян потом. Он смотрел, будто увидел зверя, которого считал вымершим, — с той особой неподвижностью, с какой смотрят на невозможное. Я выдержала его взгляд.

— Что? — сказала я. — Ребёнок кашлял. Я лекарка. Это как у вас дышать: само выходит.

— Тебя везут на смерть, — сказал он ровно. — А ты ле-чишь чужого ребёнка даром.

— Одно другому не мешает, — ответила я. — Помирать буду — тоже, поди, кому-нибудь напоследок горло послушаю. Руки-то не знают, что их хозяйку продали. Руки знают только, что кто-то рядом хворает.

Он не ответил. Но за похлёбку свою больше не притро-нулся, а долго смотрел в огонь, и на его перчатке, на левой, я заметила, проступил иней — тонкий, будто изнутри, — и тут же сошёл. Тогда я не поняла, что это значит. Поняла потом.

Я поняла тогда, что он взял мне отдельную комнату не из учтивости. Он взял её, чтобы не быть рядом со мной под одной крышей ночью. Меня, оболганную половиной уезда, всю жизнь сторонились, но так — чтобы за это ещё и платить лишней монетой, — сторонились впервые. Это было почти

смешно. Я легла на жёсткий тюфяк, подышала на слюдяное оконце и спросила у инея, боится ли он меня. Иней лёг ровно. Он не боялся. Боялась во мне только та девчонка, которую двадцать три года учили, что она стужа. Дар был честнее меня.

На второй день к полудню за белым полем встал Морнхольд.

Я думала, что видала холод. Я родилась в холоде, я в нём выросла, я в нём хоронила. Но Морнхольд не был про холод. Он был про то, что бывает после холода, когда мёрзнуть уже нечему. Замок стоял на чёрной скале над замёрзшей рекой, сложенный из синеватого камня, и лёд врос в него так, что было не понять, где кончается кладка и начинается стужа. Башни тянулись вверх острые, как сколотые сосульки. Ни дымка над трубами, ни живого огонька в бойницах. Стены не отражали солнце — они его гасили, как гасило его лицо человека на облучке.

— Красиво, — сказала я, потому что молчать было страшнее, чем говорить. — И мертво. У вас там хоть кто-нибудь живой есть, милорд, или я к вам в одну сторону?

Он обернулся. Впервые за два дня посмотрел на меня прямо, и я опять увидела эту серебряную искру в зимне-серых глазах — единственное, что в нём двигалось.

— Живые есть, — сказал он. — Пока.

Вот и весь разговор.

Ворота открылись без скрипа — в такой мороз петли не

скрипят, они стонут, но эти были смазаны на совесть, и это была первая примета в Морнхольде, что кто-то здесь ещё держит порядок, даже когда хозяин держит только смерть. Во дворе нас встретили: десяток стражи в вороненых кольчугах, седой воин с лицом, рубленным, как мёрзлое полено, и — впереди всех — человек, при виде которого мой дар проснулся сам, без спроса, будто меня толкнули под локоть.

Человек был немолод, в добротной шубе с кунным воротом, седой, гладко причёсанный, с лицом мягким и приветливым, какое бывает у хорошего гостиного дядюшки. Он спустился к саням, раскинув руки, и я увидела эти руки — холёные, белые, без единой трещины, руки, которые никогда не вправляли кость и не обмывали покойника, ухоженные руки человека, что всю жизнь чужими руками делал чужую грязную работу. И я вспомнила косого Витко на снегу у моего порога: у ворот один такой, с мягким голосом да с руками холёными.

— Племянник, — пропел человек, и голос у него был тёплый, обволакивающий, как парное молоко. — Живой, слава Хладу. Я извёлся весь. Такая дорога, такой мороз, а ты сам, сам поехал, в твоём-то... — он деликатно осёкся, глянув на левую руку Хальварда в перчатке, — ...в твоём состоянии.

— Кастелян Ульвар, — уронил Хальвард, слезая с облучка. — Мой дядя. Ведёт Предел.

— Веду, покуда есть кому вести, — вздохнул кастелян и обратил своё тёплое лицо ко мне. — А это, стало быть, наша

зимняя гостья. Дитя моё, да ты совсем замёрзла. Пойдём, пойдём в тепло.

Он потянулся взять меня за руку, чтобы помочь из саней, и я позволила — а сама, сходя,дохнула коротко на оковку саней, на промёрзшее железо у самого борта. Иней пополз по железу и свился в мелкие злые кольца. Всё, что сказал этот человек, — про то, что извёлся, про тепло, про «дитя моё», — было ложью. Гладкой, тёплой, отработанной ложью. Он не радовался, что племянник жив. Он лгал даже в «слава Хладу».

— Спасибо, — сказала я вслух и убрала руку из его холёной ладони, как только нащупала под собой опору. — Я сама. Привыкла сама.

Что-то мелькнуло в его добрых глазах — быстро, как рыба под льдом. А потом снова разлилось тепло.

Седой воин с рубленным лицом шагнул вперёд — тот самый, кого я заметила у стражи. От него не пахло ложью, от него пахло сталью и недоверием, а это разные вещи: ложь я читала, недоверие уважала.

— Сивер, начальник стражи, — назвался он, не поклонившись, и смерил меня взглядом с ног до головы, как меряют товар сомнительной свежести. — Так вот ты какая, зимняя невеста. Мне сказали, из Лога ведьму везут, что стужу водит. Ты нам тут лорда не выступи пуще прежнего, поняла? Он и так на ниточке.

— Начальник, — сказала я устало, потому что за два дня

наслушалась этого на три жизни вперёд, — если б я умела водить стужу, я б её от твоего лорда отвела, а не навела. Стужу водит не ведьма. Стужу водит горе да гаситель. А я умею одно: не дать помереть тому, кто ещё может не помереть. Твой лорд пока может. Едва-едва. Так что убери руку с меча и покажи, где тут у вас держат живых, если они ещё есть.

Сивер моргнул. Он ждал, что ведьма зашипит или заплачет, а получил лекарку, которая говорит с ним, как с мужиком, притащившим в избу поломанного сына, — коротко и по делу. Что-то в его рубленном лице дрогнуло, но он тут же снова закрылся, буркнул «иди за мной» и пошёл вперёд, и рука его с меча, я заметила, всё-таки сошла.

Меня повели в замок. Внутри было не теплее, чем снаружи, — только тише. Мы шли длинными переходами, и я, лекарка, привыкшая читать дом по запаху (где болеют, где пьют, где давно не рожали), не могла прочесть этот дом никак: он не пах ничем. Ни хворью, ни едой, ни живым. Он пах камнем и морозом. И вот тогда, в нижнем переходе, я увидела галерею.

Вдоль стен, в неглубоких нишах, стояли изваяния. Я приняла их за статуи — искусные, до жути живые статуи мужчин и женщин в старинных одеждах. А потом подошла ближе к одному, к юноше с запрокинутым лицом, и поняла, что это не камень. Это не резали. Это стекленело. Кожа, волосы, ресницы — всё обратилось в тот же зеркальный лёд, что полз по руке Хальварда, только доползший до конца. Юноша не

был изваян. Он застыл. Изнутри, заживо, до последней ресницы, и теперь стоял в нише, отражая факелы гранями своего окаменевшего горя.

— Предки, — сказал Хальвард за моей спиной, и в ровном его голосе я слышала то, что он прятал даже от себя: он смотрел на этих застывших не как на предков. Он смотрел как на своё завтра. — Дом Морн стекленеет, когда дракону нет пары. Сердце берётся инеем, потом человек. Это долго. Годы. Но это всегда так кончается.

— И вам, стало быть, нет пары, — сказала я тихо.

— Зеркало сказала, что нет. — Он отвернулся. — Семь лет назад. Зеркало Стужи не ошибается. Оно расколосось, показав пустоту, — с тех пор оно мертво, а я, — он усмехнулся краем рта, и усмешка была страшнее любого крика, — я просто дольше падаю, чем оно.

Меня привели в западную башню, в горницу под самой крышей — холодную, но чистую, с узкой лежанкой, сундуком и оконцем в свинцовом переплёте. У порога ждала женщина лет шестидесяти, сухая, прямая, с ключами на поясе и с таким лицом, будто она заранее решила меня не любить и теперь честно исполняла решение.

— Гутрун, ключница, — представил её Хальвард. — Она даст тебе всё, что нужно. — И, помолчав, добавил то, ради чего, как я поняла, и поднялся сам в эту башню: — Слушай меня, травница. Я не знаю, что тебе наплели в твоём Логе. Мне не нужна жена. Мне не нужна невеста. Мне вообще ни-

чего уже не нужно. Тебя привезли, потому что уложение о зимней дани так велит, а спорить с уложением у меня нет ни времени, ни охоты. Перезимуешь здесь. Тебя не тронут — за это отвечаю я. По весне уйдёшь с откупом, довольная, живая, и забудешь Морнхольд, как страшный сон. От тебя нужно одно: не суйся, куда не просят, и доживи до тепла. Справишься?

— Доживать до тепла — это я умею, — сказала я. — Это я всю жизнь только и делаю. А вот вы, милорд, до тепла не доживёте, если будете так дышать. Пять вздохов на версту. Я считала.

Он застыл. Гутрун за его спиной уронила ключи и не нагнулась их поднять.

— Что? — сказал Хальвард.

— То, что я лекарка, а не невеста, — ответила я. — И вижу не то, что вам наплели, а то, что есть. А есть вот что: вы не «дольше падаете». Вы падаете быстро. У вас стужа дошла до запястья, а от запястья до сердца ей — одна злая зима. Так что оставьте своё «доживи до тепла» себе. Оно вам нужнее.

Долгую минуту он смотрел на меня так, будто я дунула на него тем самым проклятым морозом, которым меня пугали в Логе. А потом развернулся и вышел, не сказав ни слова, и иней на его плечах, уходя, качнулся — я готова была поклясться, что качнулся, будто под ним что-то дрогнуло.

Гутрун подняла ключи. Посмотрела на меня уже иначе — не с любовью, нет, но с чем-то вроде трудного, против воли,

уважения.

— Никто ему такого не говорил, — сказала она сухо. — Семь лет. Ужинать принесу сюда. Из башни ночью не ходи. — И, помолчав, тише: — И на галерею больше не смотри. Насмотришься ещё.

— Гутрун, — окликнула я её в спину, — а до меня тут были зимние невесты? Мне в Логe сказали, лорд их всех загубил. Врали, поди?

Ключница остановилась. Спина её напряглась, и ответила она не сразу, а когда ответила — голос был плоский, заученный, как молитва, в которую давно не верят: — Были. Три. За семь лет. Он их пальцем не тронул, слышишь? Ни одну. Наш лорд девицу не обидит, у него на это ни зла, ни силы уже нет. Перезимовали и уехали. С откупом. Живые.

— А куда уехали? — спросила я. — В какое село, к какой родне? Может, весточку бы им послать, спросить, как оно тут зимовать.

Гутрун обернулась, и я увидела в её сухом лице то, чего она сама, кажется, боялась: она не знала. Три девушки прожили тут зиму, ели её хлеб, ходили этими переходами — и растворились, не оставив ни адреса, ни следа, ни весточки. Живая душа так не исчезает. Живая душа пишет, шлёт поклоны, зовёт куму на крестины. Пропадают — вот как это называется. Не мрут. Пропадают. Слова косого Витко сели мне под рёбра и застыли там льдинкой.

— Не знаю куда, — сказала Гутрун тихо, и в этом «не

знаю» было больше правды и больше страха, чем во всём, что я слышала за два дня. — Кастелян провожал. Он про них знает. Ты у него спроси. — И, сказав это, побледнела, будто сама испугалась своего совета, и быстро ушла, и ключи её на этот раз не звякнули, а простучали в тишине переходов, как чужие торопливые шаги.

Я осталась одна и подумала: вот оно. Три девушки. Кастелян провожал. Кастелян, у которого руки холёные и голос как парное молоко и который лжёт даже в «слава Хладу». Я села на жёсткую лежанку и долго сидела, покуда за оконцем гасли последние серые сумерки.

Она ушла, звякнув ключами. Я осталась одна в стылой горнице чужого мёртвого замка, проданная за чужие долги, у человека, что стекленел заживо. Стемнело быстро, как всегда стемняет на Севере в канун солнцеворота. Я поела принесённой каши, легла и не уснула. А потом, как всегда, встала, подошла к оконцу и подышала на промёрзшее стекло — не гадать, просто чтобы услышать хоть одну честную вещь в этом доме лжи.

И иней лёг неправильно.

Я замерла. Я двадцать три года читала иней и знала все его повадки: ровный на правду, кольцами на ложь. Но этот узор был не тот и не другой. Он полз к середине стекла и там будто натыкался на что-то, обрывался, глох — так глохнет крик под снегом, так стынет вода, когда в неё сунули лёд не по времени. Иней не лгал и не говорил правду. Иней в этом

замке был чем-то придушен. Чем-то заглушён.

Я стёрла узор,дохнула снова. То же самое. Стекло поминило что-то, чего не могло выговорить, — большое, старое, придушенное семь лет назад и до сих пор не отпущенное. Где-то под этим замком, под мёрзлой скалой, лежала правда с зажатым ртом. И мой дар, впервые в жизни наткнувшись на что-то сильнее себя, тонко, на пределе слуха, зазвенел — как звенит лёд на реке за миг до того, как треснуть.

В этом доме лгали. Не гладко, как Ульвар, не трусливо, как Бьёрг. В этом доме лгали о самом главном — так давно и так глубоко, что ложь вмёрзла в самые стены. Я приложила ладонь к холодному стеклу, закрыла глаза и прислушалась к тому тонкому звону всем нутром. Он шёл снизу. Из-под замка, из-под скалы, оттуда, где, если верить Хальварду, семь лет лежало мёртвым расколотое Зеркало. Только мёртвое не звенит. Мёртвое молчит. А это — звало. И я, дура, которой велели не соваться куда не просят, стояла у оконца и уже знала, что суну нос обязательно. Потому что я не выношу, когда правде зажимают рот. Своей всю жизнь зажимала — чужой не дам. Меня привезли сюда умереть тихо, как умерли — или не умерли — те три. Но я, кажется, единственная во всём Морнхольде, кто ещё умел слушать. И то, что звало из-под скалы, звало именно меня.

Глава 3. Стылый дом

В Морнхольде было заведено вставать до света, топить впустую и делать вид, что живёшь. Я поняла это на второе утро.

Слуги здесь двигались, как двигаются в доме, где лежит тяжелобольной: тихо, вполголоса, не глядя друг другу в глаза, будто громкое слово могло что-то стронуть с места и обрушить. Только больной тут был не в одной горнице — больным был весь замок. Топили жарко, в очагах гудело пламя, но тепло не держалось: оно уходило в стены, в лёд, в этот вечный внутренний мороз, что тёк неизвестно откуда. Я грела руки у огня и не могла согреть. Никто не мог. Люди в Морнхольде кутались даже у очага и говорили о холоде так, как в других домах говорят о крысах, — привычно, безнадёжно, как о том, с чем давно смирились.

В то первое утро я спустилась в поварню — не из смелости, а потому, что лекарке нужно знать, чем кормят дом, чтобы понять его хвори. Поварня была большая, чадная, и жизни в ней было больше, чем во всём остальном замке, — но и страху тоже. Стряпухи при мне примолкли. Молоденькая девчонка-судомойка, тощая, с цыпками на руках, уронила миску и до того перепугалась, что присела над черепками, будто ждала удара. Я подняла её, оглядела руки — обычные

цыпки, застуженные, лечатся гусиным жиром, — и сказала ей об этом тихо, а она смотрела на меня круглыми глазами и всё оглядывалась на дверь.

— Кого боишься? — спросила я. — Меня?

— Кастеляна, — выдохнула она прежде, чем успела прикусить язык, и тут же зажала рот ладонью. — Он не велит с гостьей говорить. Он всё знает, кто с кем. У него везде уши.

Больше из неё не вышло ни слова. Но и этого хватило: в Морнхольде правил не лорд. В Морнхольде правил страх с холёными руками, и страх этот знал, кто с кем говорит. Я запомнила девчонку — звали её Сольвейг — и ушла, чтобы не навлечь на неё беды.

Меня сторонились, но не гнали. Гутрун приносила мне еду и раз в день, поджав губы, спрашивала, не нужно ли чего, — и это была вся моя жизнь при дворе Зеркального лорда. Я могла бы просидеть так до весны, как мне и велели: не суйся, доживи. Но я лекарка, а лекарка в чужом доме первым делом читает, кто чем болен, — это сильнее меня, как иней сильнее меня. И я читала.

Я читала по мискам, что возвращались с господского стола нетронутыми: лорд не ел. Не «мало ел» — не ел вовсе, разве что хлебал понемногу горячего, чтобы не свалиться. Я читала по тому, как стражники отводили глаза, когда он проходил, — так отводят глаза не от страха, а от жалости, которую стыдно показать. Я читала по инею: он лежал на внутренней стороне господских дверей. Не снаружи, где мороз,

— изнутри, где должно быть тепло. Хальвард выстуживал комнату собой.

На третий день я не выдержала.

Я подкараулила его в оружейном переходе, куда он уходил один — стоять у бойницы и смотреть на замёрзшую реку, будто прощаясь. Он стоял, сняв перчатку, и разглядывал свою левую руку на свету, поворачивая её так и эдак, и в зеркальной корке, что доползла уже до костяшек, дробилось зимнее солнце. Он смотрел на свою смерть спокойно, как смотрят на давно прочитанное письмо.

— Если не есть, стеклянеть будете быстрее, — сказала я от двери. — Телу, чтобы держать стужу, нужно тепло изнутри. Тепло берётся из еды. Простая арифметика, милорд. Вы её сами себе портите.

Он не вздрогнул. Он вообще, я заметила, не вздрагивал — стужа съела в нём даже это.

— Ты подслушиваешь и подсматриваешь, травница, — сказал он, не оборачиваясь. — Я велел не соваться.

— Я и не сунулась. Я вошла. Разница в том, что суются тайком, а я вот, при дверях, во весь голос: вы себя убиваете, а я это вижу, и молчать про это мне мешает ремесло. Хотите, чтоб я молчала, — велите меня выгнать. Но пока я в вашем доме, я буду говорить, что вижу, потому что за молчание над умирающим я себе потом не прощу. Проверено.

Тогда он обернулся. И посмотрел на меня тем самым долгим взглядом, каким смотрел на постоялом дворе, когда я

лечила чужого ребёнка, — как на невозможное.

— Тебе-то что, — сказал он, и это был не вопрос, а искреннее, стылое недоумение. — Тебя привезли сюда против воли. Продали за чужой долг. Меня ты знаешь три дня и должна бы ненавидеть или бояться, как все. Отчего тебе не всё равно, сдохну я к весне или нет?

— Оттого, что вы ещё не сдохли, — сказала я. — Живой человек передо мной — вот и весь мой резон. Мне и в Логге было не всё равно, а Логг меня продал. Такая, видно, порода. Врачую даже тех, кто меня в снег кинул. Дурная привычка, но своя.

— В моём доме тебя тоже кинули в снег, — сказал он, и это было первое, что он сказал не как лорд, а как человек. — Ты знаешь, зачем тебя привезли. Знаешь, что говорят про моих зимних невест. И всё равно лезешь меня лечить. Ты либо дура, травница, либо самая бесстрашная женщина, какую я видел за семь лет.

— Одно другому не мешает, — сказала я. — Я и дура, и бесстрашная. Дура — потому что бесстрашная. У страха, милорд, вот такая беда: он бережёт тебя ровно до того дня, когда ты понимаешь, что беречь уже нечего. Меня в Логге перестали беречь давно. Освобождает, знаете ли. Ничего не боишься — ничего и не теряешь. Вам бы попробовать. Вы вон боитесь одного: что кто-то подойдёт близко и увидит, что вы ещё живы. А то ведь придётся жить.

Он молчал так долго, что я решила — сейчас велит уве-

сти. А он вдруг сказал, глухо, глядя в свою стеклянную руку: — Семь лет назад я подошёл близко. Один раз. Зеркало показало пустоту. С тех пор я знаю цену тому, чтобы подходить близко. Не подходи ко мне, травница. Не ради меня. Ради себя. Всё, к чему я подхожу, стекленеет.

— А всё, к чему подхожу я, выстуживается, — сказала я. — Так нам говорили с детства, вам и мне. Может, вдали обоим?

Что-то дрогнуло в его лице. Он открыл рот — я готова была поклясться, что он хотел сказать что-то живое, — но в этот миг в переходе раздался мягкий, обволакивающий голос, и я почувствовала, как мой дар просыпается сам, толкая меня под локоть.

— Вот вы где, племянник. — Кастелян Ульвар выплыл из-за поворота, тёплый, участливый, с неизменной своей заботой на гладком лице. — И наша гостья с вами. Дитя моё, тебе не стоит утомлять лорда. Ему вреден всякий лишний разговор, врачеватели из столицы так и сказали: покой, покой и ещё раз покой.

— Столичные врачеватели, — повторила я. — А как их звали, этих врачевателей? Каким снадобьем поили? Что говорили про руку?

Ульвар улыбнулся мне ласково, как улыбаются несмышлёному ребёнку.

— Ты не забивай свою хорошенькую голову учёными делами, — сказал он. — Твоё дело — перезимовать в тепле и

покое. О лорде есть кому позаботиться. Семь лет забочусь. — И, повернувшись к Хальварду, добавил мягко: — Тебе бы прилечь. Я распоряжусь, чтоб гостью не пускали в эту часть замка, ей тут недолго и заблудиться.

Он говорил, а я тихонько дышала на промёрзшую скобу бойницы у самого локтя. Иней пополз по железу и свился в злые тугие кольца — на «есть кому позаботиться», на «семь лет забочусь», на «столичные врачеватели». Он лгал в каждом слове о лорде. Не в мелочи — в главном. Этот человек с холёными руками лгал о том, как он «заботится» о Хальварде, — и лгал так гладко, так тепло, что если бы не иней, я бы, может, и поверила. Но иней не верил. И я не верила.

— Как скажете, кастелян, — сказала я, опустив глаза, потому что научилась в Логе одному: пока не поняла силу врага, не показывай ему свою. — Я пойду к себе.

Я ушла. Но на повороте оглянулась — коротко, украдкой — и увидела, как Ульвар склонился к Хальварду и что-то говорит ему на ухо, участливо, ласково, а Хальвард стоит, прямой и стылый, и слушает, и не спорит, — так слушают лекаря, которому вручили свою смерть и перестали задавать вопросы. И я подумала: семь лет. Семь лет этот тёплый голос капал ему в ухо, что всё кончено, что пары нет, что остаётся только достойно угаснуть. Капля камень точит. А ложь точит человека быстрее камня.

Вечером, против обыкновения, Гутрун задержалась в моей горнице. Поставила миску, помялась и вдруг села на край

сундука, сложив на коленях сухие руки.

— Ты сегодня лорду сказала про пять вздохов, — проговорила она. — И про еду. Он после этого поел. Первый раз за месяц поел, слышишь? Полмиски, но поел. — Она помолчала. — Я тридцать лет в этом доме. Мать его на моих руках выросла. Хорошая была госпожа, тёплая, — при ней Морнхольд не был мёртвым, при ней в гроте пел лёд. А как она померла и старый лорд следом, остался мальчик да этот... — Гутрун не назвала кастеляна по имени, только повела глазами на дверь. — Он мальчику дядя, кровь, а вот поди ж ты. Семь лет всё говорит: угасай спокойно, племянник, пары нет, судьба такая. И мальчик угасает. Я думала, так тому и быть. А тут ты. Дерзкая, чужая, а от тебя в доме будто щёлку в ставне открыли. — Она встала, снова сухая и прямая, будто устыдившись, что размякла. — Ты вот что. Не ходи ночью вниз. Слышишь? Что бы ни звало — не ходи. Кто в этом доме совался вниз, тех больше не видали. — И ушла, а я осталась думать над её словами, и над тем, что она сказала «в гроте пел лёд», и над тем, что мёртвое, по её же выходило, когда-то пело.

Ночью я не спала — не могла. Звон из-под скалы, тонкий, ледяной, тянул меня, как тянет боль на погоду. Я лежала, считала свои вздохи вместо чужих и слушала замок. И под самое глухое время, когда даже стража на стенах замолкает, я слышала не звон — шаги. Внизу, под моей башней, кто-то шёл. Тихо, но не крадучись — уверенно, как ходит хозяин.

Я не выдержала. Простите мне, кто может: я не умею лежать, когда рядом ходит ложь. Я накинула материнскую шаль поверх рубахи, взяла лучину и спустилась по винтовой лестнице — босая, чтобы не стучать, и на каждой ступени всё холоднее, всё ближе тот придушенный звон. Лестница вывела к галерее застывших, и мне пришлось идти мимо них в дрожащем свете лучины. Днём они были жутки, ночью — невыносимы: зеркальный лёд ловил огонёк и дробил его в сотнях мёртвых граней, и казалось, будто предки Хальварда поворачивают за мной запрокинутые лица. Я остановилась у молодой женщины в старинном венце — застывшей на полушаге, с рукой, протянутой к кому-то, кого рядом уже семь поколений как нет. Дохнула на её стеклянное плечо, сама не знаю зачем, — по привычке спросить у инея. И иней не лёг во все. На мёртвом зеркальном льду дыхание растаяло без следа, будто там, где нет ни правды, ни лжи, моему дару нечего было читать. Вот что такое дом Морн без пары, поняла я. Не смерть даже. Смерть честнее. Это — когда с тебя нечего прочесть, потому что всё живое из тебя выпито и заперто в чужой сосуд. Я перекрестила застывшую госпожу, как крестят покойников, и пошла дальше, к синему свету, и лучина дрожала у меня в руке уже не от холода. Лестница вела вниз, за галерею застывших предков, к низкой двери, окованной чёрным железом, из-за которой тянуло таким холодом, что дыхание вставало в горле льдом. Грот. То, что подо всем.

Дверь была приоткрыта. И в щель я увидела свет — не

факельный, а другой, синеватый, мертвенный, — и две тени. Одна, широкая, в куньей шубе, с гладко причёсанной седой головой, стояла спиной. Холёные руки я узнала бы из тысячи. Вторая тень, пониже, суетливая, держала перед кастеляном что-то, что я сперва приняла за ведро. А потом взгляделась — и по спине у меня прошёл мороз почище всякого дара.

Это было не ведро. Это был сосуд — окованная медью бадья с крышкой, — и из неё шёл тот самый синеватый свет, и в ней, я видела, клубилось что-то живое: не вода, не лёд, а стужа сама по себе, свитая в клубок, дышащая, будто пойманный зверёк. Живой иней. Я не знала тогда этих слов, но нутром, даром своим поняла: там, в бадье, держат чью-то живую стужу, выпитую и запертую, как запирают в склянку украденный голос.

И ещё я поняла страшное. Мой дар всю жизнь читал иней — и вот здесь, у этой бадьи, он бился и глох, как билось и глохло стекло в моей горнице. Тот же придушенный крик. То же зажатое горло. Что бы ни держали в этом окованном медью сосуде, оно было той же породы, что заглушённая правда в стенах замка. Кто-то нашёл способ ловить и запирать живую стужу — а заодно и живую правду, потому что на Севере, видно, это одна и та же вода, только в разных льдинах.

— Мало, — говорил Ульвар своим тёплым голосом, и от этого тепла над бадьёй с чужой пойманной стужей меня замутило. — Совсем мало собралось за месяц. Сток слабеет.

Или девчонка слабеет. Гляди у меня, чтоб не издохла раньше срока, она нам ещё до солнцеворота нужна, живая.

Девчонка. Сток. Живая. Слова падали в меня, как камни в прорубь, и тонули, и я ещё не понимала, что они значат, но уже знала, что это — та самая заглушённая правда, о которой семь лет молчали стены. Я подалась ближе, чтобы разглядеть, — и под моей босой ногой предательски хрустнула наледь.

Тени замерли. Синий свет качнулся.

— Кто там? — сказал Ульвар, и голос его на один-единственный миг перестал быть тёплым.

Я метнулась назад, вверх по лестнице, но не успела сделать и трёх ступеней, как из темноты навстречу выросла фигура — не кастелян, кто-то из его людей, дюжий, в мягких сапогах, оттого я и не слышала. Он схватил меня за плечо железной хваткой и вздёрнул на свет.

— Гостья, — протянул он, ощерившись. — Заплутала гостья.

Меня отволокли наверх и втолкнули в мою горницу, и я услышала, как в замке снаружи повернулся ключ, — впервые за три дня меня заперли. Голос кастеляна долетел снизу, снова тёплый, снова ласковый, наставляющий моего стража: гостья слаба рассудком с дороги, бродит во сне, пусть посидит взаперти, для её же блага, до утра.

Слаба рассудком. Бродит во сне. Как ловко он всё называл — тем же тёплым голосом, каким называл смерть Халь-

варда «судьбой», а свою бадью с чужой стужей — заботой. Я стояла у запертой двери и складывала в уме то, что успела увидеть, как складывают кости перелома: девчонка, которую нельзя уморить до солнцеворота. Сток, который слабеет. Живая стужа в окованном сосуде. Три невесты, что «пропали». Мёртвое Зеркало, что звенит. Заглушённый иней в стенах. Семь лет тёплого голоса на ухо умирающему. Порознь это были осколки. Но я всю жизнь собирала осколки в целое — по трещине узнаёшь, откуда откололось, — и целое, что складывалось у меня в голове, было такой чёрной, такой холёной масти, что я, обмывавшая мёртвых, стояла и мёрзла от чистого человеческого ужаса. В этом доме не лорд губил невест. В этом доме кто-то держал живую душу в стене и пил её по капле, а всю вину вешал на умирающего, которого сам же и убивал — медленно, ласково, семь лет. И, значит, я приехала не умирать. Я приехала не вовремя — для того, кто семь лет всё рассчитал. Меня заказали как тихую, ненужную, оболганную девку, которую никто не хватится: идеальная зимняя невеста, чтобы пропасть без следа, как пропали те три. Он не знал одного — что покупает не овцу на убой, а лекарку, которая читает ложь по инею и не умеет пройти мимо чужой боли. Он ошибся в товаре. Впервые за семь лет холёные руки взяли не то. И эта мысль, злая и горячая, впервые за три дня согрела меня лучше всякого очага.

Я стояла у запертой двери, тяжело дыша, и сердце кололось где-то в горле. А потом сквозь эту тишину, сквозь

толстую холодную стену западной башни, я услышала то, от чего у меня, лекарки, обмывавшей мёртвых и не робевшей, подкосились ноги.

За стеной плакал ребёнок. Тихо, обессиленно, на самом доньшке холода — так плачут дети, у которых уже нет сил плакать в голос. Плач шёл из камня. Из стены. Из этого мёртвого замка, где, если верить всем, живых почти не осталось, — плакал где-то замурованный, забытый, выпиваемый заживо ребёнок. И я, запертая, босая, одна, прижалась к ледяной стене ладонями и прошептала в камень то единственное, что умела: — Тихо. Тихо, маленькая. Я слышу. Я тебя слышу. Я приду. За стеной стихло. А потом сквозь камень, слабо-слабо, будто оттуда, где уже почти не осталось голоса, мне ответило: — Придёшь?.. Мне все говорили — придут. Не приходят. — И снова тишина, и в этой тишине я, запертая и бессильная, дала себе клятву крепче всех, что давала за двадцать три года: приду. Чего бы это ни стоило. Пусть меня привезли сюда умереть — я не умру, пока за этой стеной плачет ребёнок, которому все обещали и никто не пришёл. Стужа я или нет — а к ней я приду. Я приходила ко всем. Приду и к ней.

Глава 4. Что стекленеет

Меня выпустили на рассвете, и первым, кого я увидела за отпертой дверью, был кастелян Ульвар — тёплый, участливый, с чашкой горячего сбитня в холёных руках, будто всю ночь простоял под моей дверью, тревожась о моём здоровье.

— Дитя моё, — пропел он, протягивая чашку. — Как ты нас напугала. Бродила во сне, спустилась к самому гроту, чуть не сорвалась с лестницы. Хорошо, мои люди углядели. Тебе нельзя одной по ночам, ты слаба рассудком с дороги. Впредь я велю запирать тебя на ночь — для твоего же блага.

Я взяла сбитень. Отпила. И, пока пила, дышала над краем чашки — тихо, будто студя горячее. Пар оседал инеем на серебряном ободке, и иней свивался в тугие злые кольца на каждом его слове: и на «напугала», и на «чуть не сорвалась», и на «для твоего же блага». Он лгал так плотно, что мне захотелось выплеснуть сбитень ему в гладкое лицо. Но я всю жизнь училась одному: не показывая врагу, что видишь его насквозь, пока не можешь его свалить. Свалить кастеляна мне было нечем. Пока.

— Спасибо за заботу, — сказала я, опутив глаза. — Простите, что доставила хлопот. Я и правда не помню, как там оказалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.